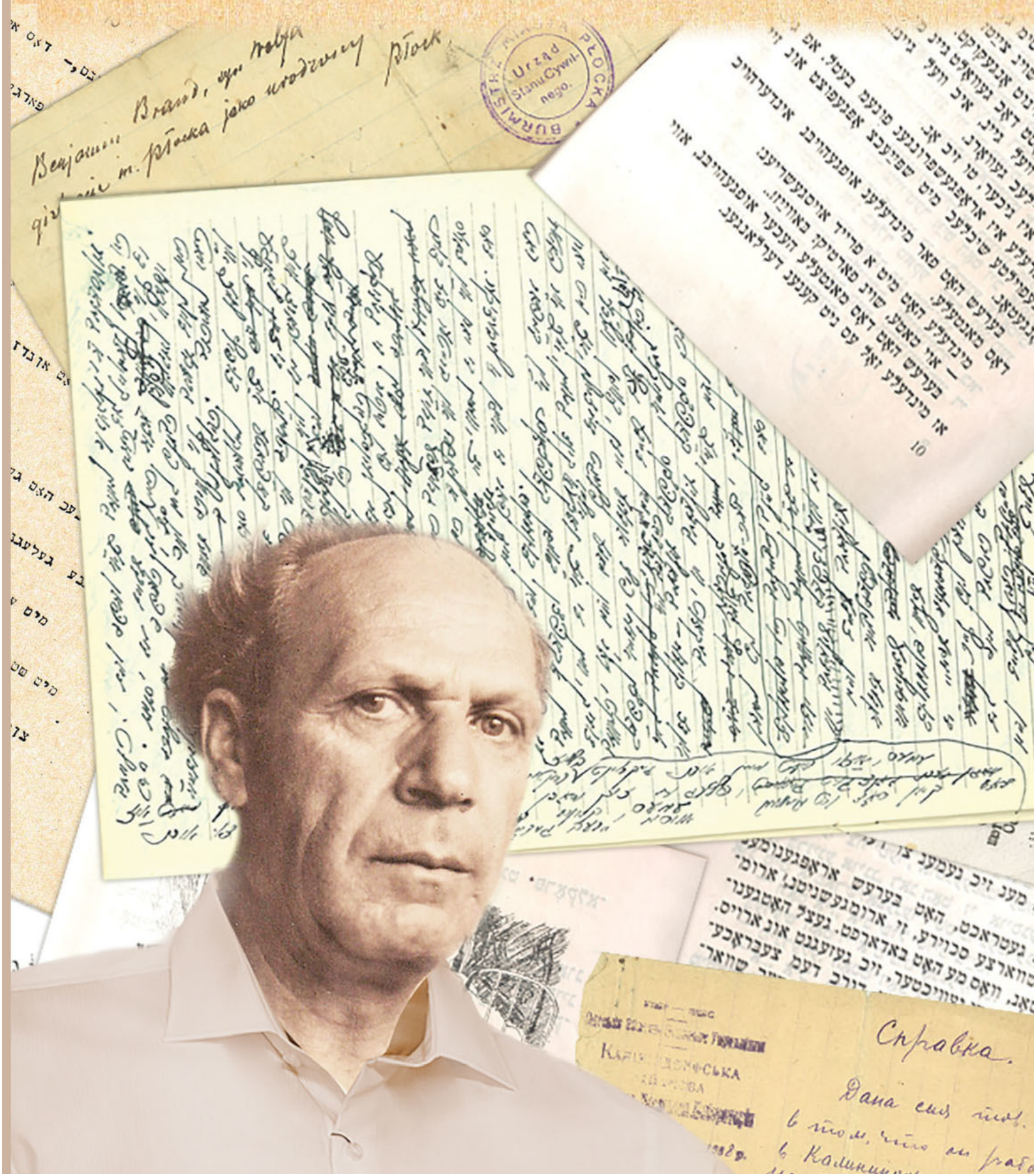


# Бениамин Бранд

## Из прошлого





Бениамин Бранд

**Из прошлого**

«ИТРК»

1990

УДК 82.312.6-93  
ББК 84-44(2Рос=Рус)

**Бранд Б. В.**

Из прошлого / Б. В. Бранд — «ИТРК», 1990

ISBN 978-5-88010-574-8

Бениамин Бранд - врач и журналист, родился в Польше, из которой его родители вместе с детьми бежали от нищеты и антисемитизма в Советский Союз. Как и многие представители своего поколения, Бранд стал свидетелем и участником событий, оказавших роковое влияние на судьбы советских евреев. Учёба в еврейской школе Харькова, первой столицы Советской Украины, участие в литературной еврейской жизни, встречи с еврейскими писателями и поэтами привели Бранда в журналистский техникум, окончив который, он уехал в Биробиджан. Получив второе, медицинское образование, он не переставал писать и печататься в еврейской прессе - в газете «Биробиджанер Штерн», в журнале «Советиш Геймланд». Книга воспоминаний «Из прошлого» задумывалась автором как документ семейной истории. Но благодаря сочному языку и дару рассказчика, ярким встречам с самыми известными еврейскими писателями и поэтами, она стала историческим свидетельством, важным не только для семьи. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82.312.6-93  
ББК 84-44(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-88010-574-8

© Бранд Б. В., 1990  
© ИТРК, 1990

## Содержание

Предисловие	6
Наш комок	8
О моем деде	12
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# Бениамин Вольфович Бранд

## Из прошлого

*Все люди любят прошлое: «Прошлое, я люблю тебя!»*  
(Г. Гейне)

© Бениамин Бранд, наследники, 2019

© Издательство ИТРК, издание и оформление, 2019

## Предисловие

Мой отец, Бениамин Вольфович Бранд родился 30 ноября 1918 года в Польше, в городе Плоцке, который при разделе Польши в 1939 году между гитлеровской Германией и Советским Союзом отошел к Германии. Это сыграло важную роль в судьбе моего отца: во время войны призывные комиссии его неизменно «браковали», как родившегося на территории врага. Когда на вопрос «место рождения» отец отвечал «Польша», на него в ярости топали ногами и кричали: «Нет такой страны! Есть Германия и СССР! Где ты родился?!» И папе приходилось отвечать «в Германии». Это было клеймо, которое закрыло ему путь в обычную армию и привело к тому, что вместо фронта он рыл траншеи в трудармии. И хотя это, скорее всего, спасло ему жизнь, сам папа очень тяжело переживал своё изгойство – молодой, здоровый и не на фронте. Он сгорал со стыда, когда, идя по улице, ловил на себе взгляды женщин, мужа и сыновья которых были на передовой.

Раннее детство папы прошло в нищей антисемитской Польше. А в 1928 году с матерью и старшим братом Абрамом он переехал в страну всеобщего «братства и справедливости» к отцу, уехавшему в СССР нелегально двумя годами раньше и писавшему восторженные письма из Харькова. Учился папа в еврейской школе, но об этом лучше читать его мемуары. Затем поступил в еврейский журналистский техникум и окунулся в необычайно богатую еврейскую литературную жизнь того времени. Встречи со многими писателями оставили глубокий след в его душе.

В 1936 году по призыву Коммунистической партии он поехал осваивать Биробиджан, где работал корреспондентом в газете «Биробиджанер Штерн». Этот период жизни довольно подробно описан в мемуарах. В 1937 году, после ареста отца и отказа признать его врагом народа, был исключен из комсомола и уволен из редакции с «волчьим» билетом. После долгих мытарств и самых разных работ в сельхозкоммуне папа поступил в мединститут. По окончании учебы был распределен в Молдавию, а в 1947 году призван в армию на долгих 20 лет. Десять из них он прослужил врачом-дерматологом в военном лазарете при эскадрилье на Дальнем Востоке, а затем был переведен в Камышин. И снова работа дерматологом в военном госпитале. Наконец демобилизация в звании подполковника и переезд с женой и двумя детьми на родину моей мамы – в Одессу, где он проработал до конца своих дней. Умер папа 11 января 1991 года, полный сил и планов.

Больше всего на свете папа любил своё голодное и нищее детство. Вспоминая его с чувством пронзительной печали и сожаления, он неизменно произносил: «Моё сладкое еврейское детство». Теперь я понимаю: это была тоска по тому времени, когда вся семья была единым и любящим целым, еще не тронутая жестоким ветром исторических перемен. Сколько себя помню, папа мечтал хоть на несколько минут вернуться в места своего детства, в Польшу, в Лодзь, на улицу Александровскую. Ему не разрешили. Позднее я поехала туда вместо папы и узнала, что на месте Александровской улицы было разбито гетто и ничего из описанного в его воспоминаниях не сохранилось.

Читать папину рукопись тяжело и больно. В ней, как в капле воды, отразились судьбы множества людей той эпохи, еврейские судьбы, искалеченные репрессиями, гонениями, войной и, конечно, его собственная жизнь.

Поначалу папины мемуары произвели на меня странное впечатление. Сколько помню себя, папа яростно ненавидел советскую власть, а в его рукописи явно звучит голос классового сознания, социалистического идеализма начала века. Не сразу я поняла, что папа мой поразительным образом сохранил и сумел передать видение жизни и времени таким, каким оно

было для него тогда, в детстве и юности, до всех мытарств и разочарований. Сохранил он и благодарную память о множестве людей, с которыми его свела судьба, в том числе и о многих еврейских писателях, имена которых сегодня почти забыты и вспоминаются чаще всего лишь в связи с «делом писателей», ставшего для них приговором.

Но и простые люди – друзья, знакомые – в папиных мемуарах удивительно добры, порядочны, человечны. И это, конечно, в первую очередь свойства самого папы, через призму которых он видел свое окружение.

Папа писал на идиш. Блестяще зная русский, он до конца своих дней считал родным еврейский язык. Перевод рукописи на русский сделал Александр Ройзин, причем сделал так, что, читая, я слышу папину интонацию. Благодарность моя ему безмерна.

Самой большой мечтой моего папы было побывать в Израиле, в Иерусалиме, прикоснуться к Стене Плача. При его жизни это было невозможно. Но то, что рукопись эта опубликована, наконец, на идиш, – знак его запоздалого прихода к ней.

*Маргарита Анишина*

## Наш комод

Есть вещи, обыкновенные домашние вещи, которые въедаются в нашу память, как хорошие друзья, на всю жизнь, и когда о них вспоминаешь, они всплывают перед глазами, как давняя красивая сказка, и ласкают своими пальцами затвердевшую за годы душу.

Вот такой вещью был наш комод, наш старый, древний комод, который занимал почти целую стену нашей единственной треугольной комнаты, в которой мы жили и в которой прошло мое детство.

Мы тогда жили в бедной части города – Балет ее называли – в большом четырехэтажном доме из красного кирпича, который резко выделялся между старыми низкими домами. Наше окно на четвертом этаже под самой крышей занимало одну стену комнаты и смотрело залатанным взглядом в большой заросший, как в крепости, двор. У второй стены стоял ткацкий станок, за которым мой отец гнул спину с утра до самой ночи, подпевая всегда в такт станку печальные или веселые песни. Четвертой стены у нас не было. Вот таким странным был этот дом построен. Когда собирались ложиться спать, расставляли посреди комнаты две железные, оставшиеся после Первой мировой войны солдатские койки, которые днем складывали и вывешивали на большом крюке с другой стороны дверей.

Интерьер нашего жилища заключала железная печурка на четырех маленьких ножках с вытяжной трубой, которая зимой во время топки накалялась докрасна. Еще были в комнате круглый столик и пара табуреток.

Теперь я хочу рассказать о нашем комодке. Как я уже раньше говорил, он занимал почти целую стену и достигал самого потолка. Возможно, потому что я был маленьким, мне казалось, что комод огромен, во всяком случае, его многочисленные отделения вмещали в себя почти всю домашнюю утварь, начиная с ложек, вилок, ножей в маленьких ящичках, до одеял и подушек на огромных выдвижных полках.

Выструганные из красного дерева дверцы, собачки и фигурки людей, медные замки и углы придавали комоду облик древней, нарядной старухи со скрытой добродушной улыбкой и глубокими морщинами на лице. Да-да, таки старухи. Вот таким я однажды его увидел в лунную ночь, когда болел ветрянкой и метался в бреду... Когда я проснулся и открыл глаза, комната была залита лунным светом. На месте комода сидела старушка, подпирая своей головой, покрытой платком, потолок. Я не испугался, наоборот, мне было хорошо от ее теплой улыбки...

С тех пор комод ожил передо мной в образе улыбающейся старухи.

Возраста комода я не знаю. Судя по древним червям, которые, словно решето, пробуровили мозг красного дерева, по загнивавшему сухому запаху его костей, я думаю, что не одно поколение пережил наш комод. Я помню даже, что согласно одной легенде, которая бытовала в нашем доме, комод этот принадлежал знатному пану, у которого служили мои дедушка и бабушка.

Выстругал комод своими собственными руками прадед моей матери – Зиса его звали. Еврей-богатырь, играючи гнувший железные подковы и заставлявший вола, ухватившись за его рога, лечь на землю.

Но, кроме железной силы, у Зисы были золотые руки.

Служил он столяром у богатого польского помещика под Полоцком и с его верстака сходили прекрасные кареты и мебель из красного дерева для его хозяев. Помещик был, как рассказывают, по отношению к крестьянам лютым. Его дикие выходки рождали у людей проклятья. Его именем пугали детей в колыбели.

Но к Зисе злобный помещик относился не так, как к остальным. Он был предметом гордости помещика. Силой Зисы и столярным мастерством его хвалился помещик перед своими соседями. Эти паны с завистью разглядывали выточенные им изделия – мебель и кареты...



Сколько раз богатые соседи предлагали хозяину Зисы большие суммы денег за столяра, но помещик в таких случаях тщеславно отрезал: «Все мое поместье могу продать, только не моего еврея».

Однажды, это было в первую ночь католической пасхи, в окно мастерской, где Зиса работал и спал, постучал панский слуга: пан Пясецкий немедленно требует к себе столяра. Зиса не был из пугливых, но ему это показалось немного странным: почему вдруг, посреди ночи, его поднимают с постели? Но времени для раздумий не было: раз хозяин вызывает, нечего рассуждать. Зиса сбросил с себя вышитую верхнюю рубаху, которую он одевал по субботам, обул сапоги, расчесал пальцами широкую, черную бороду, прикрывавшую его могучую грудь и делавшую его похожим на цыгана, и отправился вместе со слугой в большой дворец, по-праздничному украшенный разноцветными гирляндами. Из окон его неслись звуки музыки вместе с громкими раскатами смеха...

Как только Зиса переступил порог зала и предстал перед помещиками, музыка и шум оборвались и все присутствующие – мужчины в шикарных фраках, дамы в шелковых платьях – с любопытством стали разглядывать чернобородого богатыря, чьи широкие плечи вызывали удивление. Пан Пясецкий это заметил и с довольной улыбкой, что, мол, у него одного можно такое увидеть, позвал к себе Зису.

– Послушай-ка, Зиса, – произнес помещик, – на втором этаже, в столовой, стоит у меня старый комод, который еще твой отец для меня сделал. Так я хочу сегодня в честь нашей пасхи сделать тебе презент – подарить тебе этот комод.

Помещик отделился от своих гостей, подошел близко к Зисе и заглянул в его глаза, как бы проверяя, какое впечатление он на него произвел...

У Зисы застучало сердце. Он очень хорошо знал, о чем идет речь. Еще совсем мальчиком он помогал своему отцу собирать стенки, дверцы и украшения этого комода. Очень редко, когда приходилось что-то делать в столовой у помещика, он всегда подходил к комоду и своими огромными ладонями гладил его – так приятно было прикоснуться к полированному дереву, в которое его отец вложил всю свою душу.

– Так что же ты молчишь, Зиса, или тебе не нравится мой подарок? А? – не переставал ехидно улыбаться пан.

Зиса понимал, что это очередная проделка его барина. Наверно, он заключил пари с одним из своих гостей. Это было любимое занятие и неодолимая страсть пана Пясецкого, в этом отношении он равных себе не имел.

Зиса молчал. От смущения он готов был выбежать из зала, но барин встал со своего места и панибратски хлопнул столяра по плечу:

– Я вижу Зиса, что ты мне не веришь, вот здесь есть свидетели, мои гости, вельможные паны, что я не насмехаюсь, комод твой, но... с одним условием: если ты один, без всякой помощи, вынесешь комод из моего дома и отнесешь его к себе домой, ну?

Зиса стоял смущенным недолго. В нем вдруг проснулся азарт: что же будет дальше? Эх, была не была! Он быстро поднялся по широким ступеням на второй этаж в столовую и, к удивлению подвыпивших панов, в одно мгновение вскинул на широкую спину огромный тяжелый комод и понес его из барского дома к себе домой... Вот так Зиса стал владельцем комода и от него он уже переходил по наследству из поколения в поколение.

В долгие холодные зимние вечера, когда наш большой двор затихал от громких детских голосов и в железной печурке весело трещали сухие деревянные чурки, в нашей квартире собиралась соседская ребятня, жившая в длинном коридоре, и для нас не было лучшего места для игры, чем старый комод: мы раскрывали большие нижние дверцы, выдвигали полки над ними и вселялись в собственный великолепный дворец, где мы были так счастливы, как ни один король на свете.

Мой отец все сидел на доске у своего ткацкого станка и при дрожащем свете керосиновой лампы напевал какую-нибудь мелодию и не переставал стучать прялками. Мама, сидя на маленькой скамеечке за колесом, подпевала своим красивым голосом... Каждый в доме занят был своими делами. На нас, детей, никто не обращал внимания, и мы самозабвенно играли во дворце нашего старого комода, пока соседи силой не вытаскивали оттуда своих детей и не отводили их спать.

Еще много сказок рассказывала мне моя мама, когда я, бывало, не хотел засыпать – она была большая мастерица в этом деле. Каждый раз она импровизировала так естественно, что мне не раз во сне являлся богатырь Зиса с его цыганской бородой, огромными, как клещи, руками, и я не могу до сих пор сказать наверняка, что было в сказках правда, а что выдуманно... Но то, что наш старый комод сыграл в этих рассказах не последнюю роль, не выдуманно, я сам тому был свидетелем.

Мне было тогда около десяти лет. Я уже перестал ходить в школу. Мы ожидали, что вот-вот дадут визу, и мы поедем в Россию к отцу, который два года назад тайком пробрался туда через границу.

В нашей квартире перестал стучать ткацкий станок, стало как-то непривычно тихо. К нам стали по вечерам приходить какие-то незнакомые люди. Мама читала им письма, полученные из России, разговаривала с ними очень тихо, наверное, остерегалась меня. Я догадывался, кто эти люди, одного из них, молодого поляка в очках с зеленоватыми стеклами, с лицом, помеченным оспой, я узнал! Он произносил речь на одном из собраний пионерской организации в лесу за городом, которое я с братом как-то тайно посетил. Но спросить о нем у мамы я не отважился, так как понимал, что это связано с конспирацией. И я не ошибался.

Вскоре после того, как ушел от нас молодой поляк с зеленоватыми очками, в один из длинных, осенних вечеров мы услышали по другую сторону двери приближающиеся шаги. Потом бесцеремонно постучали, и, когда мама, испугавшись, открыла двери, вошел высокий полицейский с нашим дворником.

Полицейский строго спросил: «Где Лутбах?»

Мама пришла в себя и невинным голосом спокойно спросила: «Что за Лутбах?»

Полицейский даже не ответил. Вместо этого он начал шнырять по углам нашей комнаты, искал под кроватью и, наконец, добрался до комода, открыл большие нижние дверцы нашего дворца. Наша мама вдруг рассмеялась, нашел, мол, где искать человека... Но я почувствовал в неестественном смехе беспокойство. Мной овладел страх. Но моя мама снова овладела собой. Она смело подошла к комоду и начала быстро выдвигать большие и малые ящики: «Ищите, ищите лучше, – приговаривала она с сарказмом полицейскому, – может быть, кто-то скрывается в этих ящиках?..» Полицейский стукнул дверцами комода, сердито посмотрел на дворника, который стоял с виноватым лицом...

Когда непрошенные гости удалились, мама опустилась на скамейку и, как парализованная, осталась там сидеть, и я своей детской интуицией понял, что она только что пережила...

И только позже, когда мы уже жили в России, я узнал, что в тот злосчастный вечер коммунист Лутбах, который работал с моей мамой на одной ткацкой фабрике и которого разыскивала полиция, принес пакет партийных документов, чтобы спрятать их в нашей квартире. И моя мама спрятала этот пакет в одном из ящиков в самом верхнем углу нашего старого комода.

Готовясь переехать в Россию к отцу, мама решила ликвидировать наше домашнее хозяйство, выручить немного денег за комнату, для того, чтобы иметь деньги на дорогу. Оставшиеся несколько месяцев нам предстояло жить у дедушки.

Я помню это летнее утро, когда к нашему дому на Александровской улице подъехала большая подвода, запряженная двумя лошадьми. Начали освобождать нашу треугольную комнату. Я глядел на осиротевшие стены, среди которых прошли мои детские годы, и меня охва-

тывало беспокойство: я покидал гнездо, где каждый уголок такой близкий и родной, где мне так хорошо жилось с моими бедными родителями, с солдатскими койками, с железной печкой и коптящей керосиновой лампой, где остается лишь наш старый комод. У меня защемило сердце. Мне показалось, что он смотрит на всех с горькой улыбкой и упреком: «Что вы хотите от моих старых костей?»

Несколько соседок наших, которые помогли сносить вещи на повозку, окружили комод и шумно препирались, как лучше вытащить его наружу, но как только попробовали сдвинуть его с места, из его нутра вырвался болезненный стон, и в одно мгновение он рассыпался, как будто был из песка. Образовался густой желтый туман древесной пыли... У меня словно что-то оборвалось внутри, и я отвернулся, чтобы никто не заметил мои слезы. С гибелью нашего комода ушло мое сладкое детство...

Еще и теперь, на старости лет, приходит часто ко мне во сне наш старенький комод, украшенный фигурками, медными ручками и добродушной улыбкой.

## О моем деде

Моего деда звали Гедалья-бедняк. Так уж повелось у нас в Балете<sup>1</sup>, пригороде Лодзи, где жила еврейская беднота. Почти каждый там имел прозвище в соответствии с его профессией, внешностью, происхождением или другими особенностями.

Моего деда иначе как Гедалья-бедняк не называли. Правда, так его называли только за глаза, и хотя для деда это не было секретом, он притворялся, что не знает об этом... Никто не осмеливался обращаться к нему иначе, как «реб Гедалья!»

К своему прозвищу Гедалья-капцан (бедняк) мой дед так привык, что не обращал на него внимания, как будто это было его имя со дня рождения, его титул. Маму мою короновали как дочь Гедальи-капцана, а нас как внучат Гедальи-капцана.

Во времена моего детства дед не был большим бедняком, чем многие другие евреи, среди которых мы жили, но моя мать рассказывала, что много лет назад, когда она сама еще была ребенком, ее отец был бедняком среди бедняков и поэтому заслужил свое прозвище.

Дед мой стоит у меня перед глазами, как живой. Это был высокий стройный еврей, которого года и невзгоды не согнули, с широкой и длинной до пояса седой бородой, с большими серыми глазами, которые светились из-под густых бровей особой серьезностью.

Я не помню деда смеющимся и даже улыбающимся. Его продолговатое лицо, спрятанное в бороде, всегда было озабоченным и строгим. Длинный его, почти до самой земли, лапсердак (традиционная верхняя одежда у евреев) свисал с широких плеч слишком свободно, скрывая его стройность. Носил дед довольно тяжелые сапоги на толстых подошвах с железными подковами, и меня удивляло, как он шагает с таким грузом на ногах. Правда, дед никогда не спешил; его шаг был спокойным, степенным. Степенность его шага подчеркивала толстая медная палка, которую я едва мог поднять. Для чего ему нужна была палка, я не знаю. Возможно, для самоутверждения. Во всяком случае я не испытывал к ней почтения...

Жил Гедалья-капцан на Логовицкой улице в доме номер 13 в маленькой комнатке на первом этаже в старом двухэтажном доме. Единственное окно почти упиралось в высокий кирпичный забор и когда заходили с улицы в квартиру, довольно долго, пока глаза не привыкали к темноте, ничего не видели.

Здесь дедушка жил со своей второй женой Фейгеле (первая, моя бабушка, умерла во время Первой мировой войны) и со своей дочкой, моей тетей Перл. Все убранство комнаты состояло из двух деревянных кроватей, столика у окна и железной печурки у самых дверей. В пасмурный или дождливый день жилище освещала керосиновая лампа.

Имя Фейгеле (птичка) очень шло моей неродной бабушке. Ее маленький рост, ее нежность делали ее схожей с девушкой, и ее тонкий голосочек звучал, как у птички. Детей она не имела и поэтому, видимо, так сильно любила меня и моего брата. Всегда, когда мы приходили в гости, она от радости не знала, куда нас посадить, наконец, усаживала нас и потчевала медовым пряником. Она придерживалась всех еврейских обычаев и праздников и была замечательной хозяйкой. Как бедно ни выглядело жилье дедушки, но в пятницу вечером, когда он должен был прийти из синагоги, пол блестел чистотой, белая скатерть на столике так и сияла... Огонек в вымытой керосиновой лампе по-праздничному мерцал, и будничный запах сырой стены сменялся запахом рыбы со свежей халой<sup>2</sup>. Трогательно было наблюдать, как Фейгеле благословляет свечи<sup>3</sup>. Дедушке она была предана и предупреждала все его желания. Ее Гедалья очень мало говорил, и она часто, как рабыня, глядела на него снизу вверх, желая предугадать

---

<sup>1</sup> Bałuty – еврейский квартал в Лодзи. – *Здесь и далее примечания переводчика.*

<sup>2</sup> Хала – традиционный хлеб (обычно белая плетеная булка), который принято есть в субботу и праздники.

<sup>3</sup> Зажигание субботних свечей – особая женская заповедь в иудаизме.

по выражению глаз его желания. Я не помню, чтобы дедушка когда-нибудь на нее сердился или повысил голос, но мне казалось, что Фейгеле его боится. Может потому, что по моему детскому разумению, дед был таким высоким, таким сильным, а она такая малюсенькая, такая слабенькая в сравнении с ним.

На праздник Суккот дедушка сидел в шалаше – сукке – на самом почетном месте, как царь. Фейгеле бегала на своих маленьких ножках из дома в сукку<sup>4</sup> с тарелками чолнта и рыбы и прислуживала деду.

Народ в дворе относился с большим уважением к реб Гедалье, хотя он ни с кем из соседей не дружил. «Меламед»<sup>5</sup> – он держался обособленно от извозчиков, грузчиков, мясников, сапожников и портных. И они, эти простые, грубые парни, несмотря на это, испытывали к нему большое почтение. Часто они приходили к Гедалье советоваться, предлагали ему выпить или решить какой-то спор... И как реб Гедалья советовал, так и поступали.

Не раз я был свидетелем, как велика была власть моего деда во дворе. Я не помню из-за чего, но в доме, где жил мой дед, однажды загорелся горячий спор, в котором приняли участие почти все жители; шум и крики с проклятиями всех видов и степеней достигали седьмого неба... А у мясников и уличных грузчиков от подобных проклятий недалеко и до драки... Что-то творилось ужасное!.. Жители соседних домов высыпали наружу, наблюдая за этим необычным зрелищем. Для нас, малышей, это было настоящей забавой. Этот шум, эти кулаки нас очень веселили. Я не помню, сколько это все продолжалось и чем кончилось бы, если бы не приход моего деда, который возвращался из талмуд-торы<sup>6</sup> (религиозной средней школы). Я его заметил тотчас же, когда он вошел во двор. Несколько мгновений он стоял молча у ворот с немного откинутой назад головой, и я заметил, как его серые глаза под густыми бровями налились гневом. Лицо его побледнело, и вдруг он резко поднял над головой свою тяжелую палку и прогремел своим могучим басом: «Байструки!!!» – и больше ни слова. Произошло замешательство; в одно мгновение стало тихо и... все закончилось. Дед еще постоял с поднятой палкой, как монумент, потом, не обращая никакого внимания на присутствующих, которые освободили для него проход, через двор пошел к себе домой.

К моей матери дед относился с прохладцей и, как я позже узнал, такое отношение имело причину: будучи очень набожным евреем, воспитанным в фанатичной хасидской среде<sup>7</sup>, дедушка не мог простить моей маме то, что она в четырнадцать лет оставила дом, родителей, порвала с религией, пошла работать на ткацкую фабрику и подружилась с прогрессивной молодежью. Дедушка даже не пришел на ее свадьбу и не заходил в наш дом.

На меня и моего брата, когда мы приходили в гости в субботу или на праздники, он смотрел с сожалением: внуки Гедальи растут босяками... Он хорошо понимал, что ничего не может изменить в этом отношении, поэтому при встрече с мамой не упрекал ее, но глубоко в душе таил на нее обиду.

Последние месяцы перед нашим переездом к отцу в Россию, когда мама уже распродала все вещи и саму квартиру продала за некоторую сумму денег, мы перебрались к дедушке в его тесную комнатку. К этому времени Фейгеле уже не было в живых, она умерла незадолго перед тем. Дедушка во второй раз овдовел, ходил грустным. Наше переселение ему, разумеется, большого удовольствия доставить не могло. Пять человек (с ним проживала тетя Перл – больная близорукая девушка в годах) в маленькой комнатухе с сырой стеной – это уже было

<sup>4</sup> Сукка – шалаш, куща, крытое зелеными ветвями временное жилище, в котором евреи обязаны провести праздник Суккот.

<sup>5</sup> Меламед – у ашкеназских евреев учитель в хедере или талмуд-торе.

<sup>6</sup> Талмуд-тора – еврейское учебное заведение для мальчиков, обычно содержалось за счет общины или благотворителей.

<sup>7</sup> Хасидизм – широко распространенное народное религиозное движение, возникшее в восточноевропейском иудаизме во второй четверти XVIII века и существующее сегодня.

слишком. Кроме того, он не мог примириться с тем, что в его доме живут двое мальчиков, не воспитанных по-еврейски – два босняка.

Правда, мама, чтобы не огорчать старика, не разрешала нам ходить без тапок и даже выучила нас совершать молитву перед едой в присутствии деда. Но не трудно было понять, что это все мы делаем для него. Поэтому дедушка смотрел на все это равнодушно, нередко с горестной усмешкой на спрятанных в бороде губах...

Нам, детям, теснота и темнота мало мешали. С утра до вечера мы проводили время во дворе и на улице. Мама была занята хлопотами по приготовлению к отъезду в Россию и мало обращала на нас внимания. В школу мы уже не ходили, так что носились, как свободные птицы.

В квартире мы появлялись лишь для того, чтобы поесть и поспать. Эти несколько вольных счастливых месяцев были заполнены многочисленными происшествиями в моей детской жизни, которые остались в памяти до сегодняшнего дня. Но об этом немного позже. С дедом установились, как говорят дипломаты, отношения мирного сосуществования: мама ему отдавала дань уважения, что тешило самолюбие старого человека, а мы с братом просто боялись позволить себе в его присутствии что-либо лишнее. В доме царил мир. Правда, мама, бывало, прикрикнет на нас с братом или даже выплет нам пониже спины, когда мы что-то натворим во дворе или не слушаемся, выводим ее из себя в присутствии деда, но это все делалось больше для видимости, чтобы дед видел, что она тоже может воспитывать своих сорванцов...

Но дедушку это не убеждало. Он скептически гладил свою красивую бороду – такую привычку он имел, когда был недоволен – и рассуждал: «Оставь, Миндл, ты что, сгоняешь с них мух?» Сам же он никогда нас и пальцем не тронул.

После смерти Фейгеле он чувствовал себя одиноким, как король, лишившийся своего королевства и оставленный слугами. Старик, как в воздухе, нуждался в человеке, который также по-рабски смотрел бы ему в глаза.

Ко мне, как к самому младшему, дедушка был более расположен, и он ничего не имел против того, чтобы я ему носил обед в талмуд-тору, где он с утра до вечера обучал мальчиков моего возраста. Мне было приятно, и я гордился сам перед собой, что мой дед – учитель этой ребятни, которая целый день должна высиживать в душном хедере (начальной школе) над молитвенником. В противоположность им, я был свободным независимым человеком, и своей детской интуицией читал в глазах бедных мальчиков зависть. Но по-настоящему я мог оценить свое привилегированное положение, когда в отсутствие дедушки я начинал копаться в ящиках его стола, где лежали клады различных поделок, которые дед забирал у своих учеников во время уроков в талмуд-торе. Чего только не было в этих ящиках: стеклышки и жестянки, перья и ножики, колесики и бутылочки из-под духов, свисточки и цепочки. Немало из этих кладов перекочевало ко мне в карман и я, как богач, хвалился перед мальчишками во дворе, которые мне завидовали и заискивали передо мной. Но однажды, во время моих поисков в ящике, дед схватил меня за руку. Я очень испугался, сердце у меня стало сильно биться, и я не знал, куда деть глаза. Дед пальцем своей тяжелой руки поднял мой подбородок и пронзил меня своим острым взглядом. «Что же из тебя получится?» В его голосе чувствовались боль и сожаление... Я был более чем уверен, что об этом происшествии дедушка расскажет маме и что без наказания это дело не кончится. К моему великому удивлению, никто о моей краже даже не упомянул, однако с того дня я избегал оставаться с дедом с глазу на глаз и всегда чувствовал себя перед ним виноватым...

Помолившись вместе с дедушкой, приходил иногда домой из синагоги его давний друг Мойшеле-горбун. Это был маленький человечек с красивой широкой бородой и живыми глазами, который нес свой горб, как грузчик тяжелый груз. Парочка была довольно примечательная: высокий, стройный дед и маленький горбатый человечек Мойшеле. Такой серьезный и строгий дед, который одним своим внешним видом вызывал уважение и возле него маленький горбатый человечек, который доставал деду до бороды... Но как трогательна была их дружба!



Всю свою оставшуюся теплоту и деликатность дедушка вкладывал в имя «Мойшеле», когда он обращался к своему другу, а Мойшеле отвечал ему с любовью: «Гедалья – жизнь моя!» (традиционное обращение у евреев). Притом чувствовалось во всем его существе такая гордость, что именно его, такого уродя, как раз выбрал между всеми такой богатырь, как Гедалья...

В праздничные и субботные дни мой дед светился, как король. Одетый в шелковую капоту<sup>8</sup> с причесанной празднично бородой он выделялся своей красотой, своей стройностью... В такие дни мой дедушка становился как бы мягче, чем всегда. Его большие печальные глаза излучали какую-то особую торжественность. Вот так, мне казалось, выглядел пророк Моисей (Мойшэ-рабейну). В такие минуты дедушка был ко мне более расположен, забывал мои грехи, сажал к себе на колени, ущипнув меня за щеку: ну, сорванец, расскажи что-нибудь деду... Я стеснялся и не знал, что ему рассказать. Но все равно: сидеть на коленях у деда и вдыхать его чудный праздничный запах было очень приятно.

Почти каждую субботу и каждый праздник, после обеда, дедушка закрывал комнату на крючок и среди ясного дня раздавалось пение в два голоса: деда с его мягким басом и Мойшеле с его сладким тенором. Пели они канторские отрывки из молитвы и субботные песни. Это были самые счастливые минуты в жизни этих двух людей. Я помню, как однажды мне удалось через широкую щель в дверях подсмотреть их концерт. Это было исключительное зрелище. Оба еврея сидели в жилетках и тапочках друг против друга за столом, борода Мойшеле лежала на самой скатерти и оба, с полузакрытыми глазами, дирижируя руками, тянули приятный и грустный хасидский напев. Вдруг этот напев оборвался и начался у них фрейлехс. Они притопывали ногами и прихлопывали в такт руками, горб у Мойшеле ожил, как барабан на спине уличного барабанщика, и пританцовывал в такт. Эти звуки вырывались из тесной комнатки в коридор, где собирались соседи по дому, которые с удовольствием подпевали закрывшимся друзьям. Это длилось до тех пор, пока не раздавался такой звук, что, казалось, старый дом зашатался и стены рассыпаются... Мы, дети, подражали взрослым, и был такой шум, что можно было оглохнуть.

Вот приходит мне на память, как однажды мой дед взял меня с собой в синагогу. Это был погожий осенний день, который начался так празднично и торжественно, а закончился для меня совсем невесело. Несмотря на то, что я вырос в еврейской среде, в среде религиозных людей и фанатиков, я первый раз переступил порог синагоги. Это может показаться странным, но так это и было. Мои родители еще в ранней юности порвали с религией, ушли из своего фанатичного окружения, пристали к прогрессивному рабочему движению и с годами стали противниками любой религии. В таком духе и я был воспитан и вместо грязного хедера я посещал единственную в городе еврейскую народную школу. Соседи на нашу семью смотрели косо; мы для них были неевреи (гоим) и отступники<sup>9</sup>, бегавшие по двору без головных уборов и питавшиеся свининой. Я помню как в пасхальные дни, для того чтобы не дразнить набожных соседей – хасидов, мы ели хлеб при закрытых дверях... Нередко мне доставалось за мое безверие от местных мальчишек из хедера, и я страдал от их всевозможных козней. Ежедневно, идя в школу, я проходил мимо синагоги, но вот идти туда из-за моего «ортодоксального неверия» я не отваживался, хотя мне так хотелось туда проникнуть и посмотреть изнутри почерневшее за годы мрачное здание. Так что мое первое посещение этого дома выглядело, как будто бы я сделал первый шаг на только что открытом острове.

С напряженным вниманием я оглядывал просторный зал, где собрались празднично одетые евреи, в большинстве своем ремесленники и мелкие торговцы. Здесь царило праздничное настроение; отмечали веселый праздник – Симхестойрэ<sup>10</sup>. Шум стоял необычайный. Я с

<sup>8</sup> Традиционный мужской костюм.

<sup>9</sup> Так называли евреев, которые отошли от религиозной жизни или перешли в другую веру – *меишмад*, *выкрест*.

<sup>10</sup> Симхат-Тора (радость Торы) – в этот день завершается годичный цикл чтения Торы и сразу же начинается новый цикл.

удовольствием смотрел, как многие из присутствовавших встречали деда приветствием: «С праздником, реб Гедаля!» – и уступали ему дорогу. Мойшеле-горбун тут как тут, как будто вырос из-под земли, взял деда за руку, как мальчик, и довольный пошел за ним. Дед, должно быть, тоже был доволен: впервые он «представил» посетителям синагоги своего внука... и они все принялись меня разглядывать с ног до головы, как дикаря, который только что вышел из леса. Меня это очень огорчало, но я делал вид, что не замечаю этого, и что меня это волнует, как прошлогодний снег.

Вдруг в зале началось оживление, и толпа двинулась к ковчегу<sup>11</sup>. Дед мой также не отставал. Он исчез в толпе, и я остался один, как беспризорник. Шум нарастал. Евреи как-то нагибались, быстро что-то говорили, и я не мог понять, что же здесь происходит... Но вот появился мой дедушка со свитком Торы: «Держи крепко, Йомеле<sup>12</sup>. Не дай бог, если уронишь...» И торжественно добавил: «Это священный предмет...» Я принял от деда свиток торы в парчевом футляре, не зная, что же мне делать с этим «священным предметом». Но вскоре я заметил, что несколько подростков тоже со свитками торы ринулись на середину зала, подпевая и пританцовывая. В полной растерянности я последовал за веселой процессией, неся невероятно большой, как мне показалось, свиток торы. Вот-вот я его выпущу из моих детских рук – так тяжел был этот груз для меня... «И что тогда будет?» – я покрылся холодным потом и почувствовал, как сердце стало учащенно биться. Я уже больше ничего не видел и не слышал, что происходит вокруг меня, и все мои мысли были направлены на то, чтобы удержать «священный предмет» в руках...

Кажется, дедушка заметил мою растерянность, и, когда вместе с танцующими ребятами, сделав круг, я поравнялся с ним, он забрал у меня тору. Как благодарен был я деду, как временно освободил он меня от этой ноши!.. Еще мгновение и она выпала бы из моих рук на пол...

Но самое печальное в этот праздничный день еще предстояло. После танца со священными свитками нас, мальчиков, посадили вокруг длинного стола, покрытого белоснежной скатертью, где перед каждым стояли маленькие рюмочки и тарелочки с изрядным куском пряника. За столом я был самым маленьким и, не ожидая, когда мальчишки возьмутся за трапезу, я в одно мгновение проглотил вкусный пряник. Тут я только заметил, что мои соседи подняли рюмочки и кричат «Лехаим!» (за здоровье!)... Тогда я тоже поднял мою рюмку и выпил ее вместе со всеми.

О, горе мне! У меня захватило дыхание, я почувствовал огонь во рту, который соскочил в желудок и начал там жечь до сумасшествия...

Откуда мне знать, что это была крепкая водка, которую я до сих пор даже не нюхал... Откуда мне знать, что сначала надо выпить, а потом закусывать, так, как сделали все ребята, а не наоборот, как я.

Что мне вам сказать? Я почувствовал, что со мной случилось что-то страшное, в чем я сам себе не мог отдать отчет. Огонь в моем детском желудке запылал страшным пламенем, и мне стало так плохо, что я хотел закричать. Но как это закричать в синагоге? Деда я потерял из виду, он где-то затерялся в своей компании и я не знал что делать. Тут мне пришло в голову выбежать во двор, может, на свежем воздухе мне станет лучше. Но, увы! Наоборот, мне начало еще больше печь внутри, и я, забыв о синагоге, о дедушке, обо всем на свете, пустился бежать по улице, просто бежать, сам не зная, зачем и куда... И лишь только тогда, когда я пробежал мимо нашего дома на Александровской улице, где мы жили до того, как перебрались к деду, вбежал в ворота и подбежал к забору, который отделял двор от старого еврейского кладбища, я понял, где нахожусь. Я сам не знаю, что меня сюда привело. Как кошка, я перемахнул через

<sup>11</sup> Арон-кодеш – ковчег, в котором хранятся свитки Торы.

<sup>12</sup> Йоме, Йомеле – уменьшительная форма от имени Биньомин.

забор, подбежал к ближайшей могиле, и, ухватясь за пылающий живот, лег на холодную мраморную плиту: вот я сейчас помру... Вокруг ни души. Так я пролежал на кладбище несколько часов, пока огонь в моем животе не остыл...

Дома меня встретил дедушка, совсем расстроенный; он никак не мог понять, почему я без его ведома вдруг оставил синагогу и куда я делся... Он обошел весь Балет и не знал, где меня еще искать. Но деду я, сам не знаю почему, боялся рассказать, что со мной случилось... Хорошо еще, что мамы не было в этот день – она ездила в Варшаву за визой в Россию – иначе мне бы влетело...

Но этим еще не закончился для меня тот злополучный день праздника Торы. Недаром говорят, что беда не приходит одна... Вечером, когда пожар исчез из моего желудка, я встал как с того света. На душе стало легко и празднично и меня со свежей силой потянуло к радостям жизни. Я вспомнил, что никто еще из моих дворовых товарищей не видел мой флажок, который дедушка мне купил к празднику Торы. Недолго думая, я зажег свечку, вставил ее в красное яблоко, которое было надето на палочку флажка, и в самом лучшем настроении вышел во двор.

На дворе, однако, никого не было, и я, разочарованный, что не перед кем похвалиться, хотел уже вернуться домой, как вдруг, словно призрак, на меня набросился какой-то зверь с горящими глазами, с зубастой пастью и опрокинул меня на землю вместе с моим праздничным флажком. От страха я поднял такой крик, что все выбежали из своих квартир во двор, но подойти ко мне не осмелились: надо мной стояла овчарка, перед которой дрожал весь двор. Сам же хозяин собаки, он же хозяин нашего дома пан Пясецкий, сдерживая и глядя своего любимца, громко смеялся: «Посмотри-ка, как этот лайдак испугался!» И тут вдруг показался мой дед. Не обращая внимания на разъяренную собаку, бросил пану в лицо: «Ты собачье дерьмо!» Он продолжал надвигаться на хозяина всем своим могучим телом. Пан Пясецкий, наверно, не на шутку испугался и исчез вместе со своей собакой.

После этого случая я долго провалился в постели, и мне казалось, что я никак не могу убежать от собаки. Мое тело лихорадило. Перед моими глазами зияла оскаленная зубастая пасть овчарки и разорванный ею праздничный флажок. Еще долго ночью я слышал, как ворочался мой дедушка и временами вырывался из его груди тяжелый стон. Вот так начался и закончился для меня тот памятный для меня праздник Симхестойрэ.

У деда мы жили полгода, но за это короткое время, мне казалось, я стал вполне взрослым; я узнал о таких вещах, о которых я раньше, при моих десяти годах даже понятия не имел.

Школу я не посещал, мы вот-вот должны были поехать к отцу в Россию, у моей мамы поэтому было полно хлопот, дедушка пропадал в своей талмуд-торе, и я был как свободная птица. Я еще никогда не чувствовал себя таким счастливым. Моя мальчишеская жизнь была заполнена захватывающими событиями, я вырвался в широкий мир...

Дом в Балете на Логовницкой улице, где жил дед, с одной стороны был недалеко от базара, с другой стороны через забор он граничил со знаменитым в городе увеселительным домом. Перед входом в него днем и ночью при любой погоде стояли женщины с отвратительно накрашенными губами и с папиросами во рту и зазывали к себе проходящих мимо мужчин: «Проше пане!» При этом открывали ноги выше колен и обнажали бюст... Не проходило и дня, чтобы там не произошла драка или пьяный скандал, собиравший большую толпу любопытных и праздно шатающихся. Мы, мальчишки, также были среди них.

Больше всего меня удивлял грубый язык этих женщин из увеселительного дома, который превосходил «благородный» язык их кавалеров. Я тогда не понимал, что это за женщины и чем они занимаются. Однажды, проходя мимо этого дома вместе с мамой, я спросил у нее, что здесь происходит. Моя мама, видимо, не была готова к такому вопросу и, путаясь, ответила мне, что тут живут женщины, которые заманивают к себе мужчин, играют с ними в карты, пьянствуют с ними, а потом обворовывают их... Долгое время я это принимал за чистую монету, но мое

любопытство не было удовлетворено и меня тянуло к этому злополучному дому, чтобы понаблюдать за ним поближе, невзирая на то, что он меня пугал. И вот, один раз, я помню, мне наконец-то удалось проникнуть туда и то, что я там увидел, произвело в моем детском мировоззрении настоящий переворот. Было это так.

В далекие времена моего детства очень часто по дворам города кочевали целые труппы уличных артистов. Это были скрипачи, флейтисты, кларнетисты, баянисты, каторинщики<sup>13</sup>, певцы, танцоры, акробаты, фокусники с морскими свинками и билетиками, глотатели шпаг и укротители змей и даже паяцы. Посреди двора эти артисты расстилали большое покрывало и, сопровождаемые аплодисментами живого круга зрителей, демонстрировали свое искусство.

Среди этой компании было немало талантливых артистов, которые по различным причинам не нашли свое место в жизни, или, возможно, им импонировал такой вольный образ жизни. У нас, мальчишек, особый успех имел Янкл-барабанщик, который в такт тарелкам барабана, висящего на его плече, как вихрь кружился в диком танце. При этом черные локоны на его голове становились дыбом и с лица его лился пот... Мы, верные поклонники барабанщика, ходили за ним из двора во двор, чтобы еще и еще раз присутствовать на его представлении. После таких представлений артисты с виртуозной ловкостью ловили в шапки монеты, которые зрители бросали им из открытых окон.

Вот с одной из таких трупп, которая гастролировала на нашей улице, мне удалось как-то пробраться во двор знаменитого дома. Возможно, из-за таинственных рассказов, которых я наслушался об этом месте, на меня напал настоящий ужас, у меня начало так сильно стучать сердце, словно я преступил закон и совершил преступление.

Двор представлял собой небольшой квадрат, в который со всех сторон выглядывали маленькие окошечки двухэтажного здания. Как только грянула музыка и Янкл пустился в свой дикий пляс, сразу пооткрывались закрытые окошки и показались голые тела женщин и мужчин, которые под громкий смех начали обмениваться комментариями, перемешанными такими грязными словечками, что уши у меня начали гореть... И вообще меня потрясло бесстыдство, с которым эти существа выставляли перед всеми свои обнаженные тела.

Для меня это было открытие, и когда я вырвался из этого двора на улицу, все увиденное мне показалось лишь сном... Еще много дней и ночей меня преследовали открытые окна с белыми телами. Я не мог это уразуметь. Постепенно я начал понимать, что то, что я слышал от старших мальчиков и во что раньше не хотел верить, таки правда. К тому же я становился старше.

Нигде в Балете не царило такое оживление и шум, как на базаре «Йоны Пилдера», который находился через несколько дворов от дома моего деда. Этот базар распространял запах селедки и соленых огурцов на все улицы вокруг.

Мы, мальчишки, чувствовали себя там, как в собственном доме, и находились там часами. Мы просто так гуляли между кричащими продавцами живностью, птицей, рыбой, зеленью, прыгали по каменным ступенькам лавок, где продавали мясо, пожирали жадными глазами переполненные кошелки с различными печеньями или с любопытством наблюдали, как морские свинки на шарманках вытаскивали билетики для искателей счастья.

Попадался иногда и заработок – три или пять грошей за выгрузку из повозки картофеля или лука. Нередко мы устраивали какую-то шалость с торговцами домашних птиц и потом долго с удовольствием смеялись. Вот так мы проводили свое время, и никто нам не мешал в наших делах. Однажды, когда я прогуливался между торговцами овощами, меня позвала одна продавщица к своим кошелкам: «Послушай-ка, мальчик, погляди-ка за моими кошелками только одну минуту, я сейчас же вернусь». Я еще не успел дать свое согласие, как торговка

---

<sup>13</sup> Шарманщики.

скрылась, и поневоле я остался наедине с яблоками. Стою я и не знаю, что делать: роль сторожа мне не по душе, но просто так оставить свой пост мне как-то неудобно. Прежде всего, я выбрал самое красивое яблоко, и сам себя угостил. Тут вдруг появился передо мной полицейский:

– Твои яблоки? – спросил он строго. – Где твоя мама?

Мы, еврейские мальчики, вообще дрожали перед полицией, и, ничего не соображая со страху, я промямлил:

– Д-да, вот сейчас она придет...

– А разрешение торговать у вас имеется?

Тут я догадался, что моя торговка скрылась, чтобы избежать встречи с полицейским, наверно, у нее не было этого самого разрешения на торговлю. Но я так уверенно ответил «Ну разумеется!», что не вызвал у полицейского сомнений.

Полицейский сердито смерил меня взглядом с головы до ног и перешел к следующей торговке; у меня как будто камень с души свалился, будто я вырвался из его рук. Во время этого разговора я не заметил, что вокруг меня собрались женщины-покупательницы, которые щупали мой «товар».

– Мальчик, сколько стоят твои яблоки? – обратилась одна из них ко мне.

Я не знаю почему, но назвал цену, которая пришла мне в голову сама, как будто мною завладел нечистый. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я начал торговать яблоками.

Около меня собралось много покупателей, которые начали ссориться между собой; каждый из них хотел побыстрее купить у меня... и я взвешивал яблоки, брал деньги и работал, что называется, не покладая рук, и когда моя «яблочная мама» возвратилась, ее яблоки были распроданы, а кошельки пусты. От удивления она остановилась с открытым ртом, как будто онемела... Я уже приготовился к тому, что она мне сейчас всыплет, как следует, и я уже готов был улизнуть... но она, к моему удивлению, погладила меня по голове и со слезами в голосе сказала: «Благословен будь мой спаситель...» Я отдал ей все вырученные деньги до копейки, и она, опять-таки к моему удивлению, их не пересчитала. Я помог ей нести домой тяжелые весы, после чего она меня одарила несколькими серебряными монетами. Счастливый, я вернулся на базар с моим первым заработком, где досыта наелся душистых и аппетитных пряников с черникой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.